

Е. Р. Обатнина

## ПИСАТЕЛЬ НА ФОНЕ СМЕНОВЕХОВСТВА: РЕМИЗОВ И ПРИШВИН<sup>1</sup>

### Резюме

В статье анализируются неоднозначные мотивы и причины, в силу которых литературная личность писателя как метрополии, так и диаспоры в начале 1920-х гг. невольно приобретала сменовеховские коннотации. Алексей Ремизов в течение первых двух лет своего пребывания в Германии, куда он сбежал, спасаясь от невыносимых условий жизни в России, сохранял свое право на возвращение в Петроград. В связи с таким добровольным положением «временного» эмигранта в истории литературного процесса начала 1920-х гг. ряд событий его творческой жизни оказался запечатлен «на фоне» сменовеховства. В статье впервые анализируется очерк Ремизова «Крюк. Память петербургская» (1922), содержание которого, на первый взгляд, выражало поддержку программе Н. Устрялова, нацеленной на возвращение эмигрантов на родину. Индивидуальный опыт восприятия сменовеховских идеологем представлен на примере двух моделей писательского поведения в конкретной идеологической ситуации: Ремизова как «временного» писателя-эмигранта в 1921–1923 гг. и Пришвина — писателя, после Октябрьского переворота занявшего позицию «внутреннего эмигранта». По материалам дневника Пришвина в статье развернута по-своему трагическая история рецепции очерка Ремизова «Крюк» (1922), а также раскрыто отношение двух писателей к понятию «патриотизм» — одному из основных тезисов движения «возвращенчества». Статья раскрывает в новом ракурсе историю отношений двух писателей-единомышленников и восстанавливает контекст неизвестной переписки 1922–1923 гг., фрагменты которой сохранились на страницах дневников Пришвина, а одно письмо было опубликовано в виде очерка Пришвина «Сопка Маир»

---

<sup>1</sup> Статья выполнена при поддержке Российского научного фонда по гранту № 20-18-00007.

(«Накануне», 1922). Очерк содержит адресное обращение к Ремизову и «ответ» на очерк «Крюк». Статья является частью исследования творческой биографии Ремизова, осмысленной как отражение индивидуального опыта в истории русской эмиграции первой волны.

*Ключевые слова:* русская эмиграция первой волны, сменовеховство, национал-большевизм, возвращенчество, внутренняя эмиграция, патриотизм, рецепция, идеология, писательское поведение, русский Берлин, зарубежная периодика

Elena R. Obatnina

## THE WRITER IN THE LANDSCAPE OF THE SMENOVEKHOVSTVO: REMIZOV AND PRISHVIN

### Abstract

The article analyzes the ambiguous motives and reasons that in the early 1920s, both at home and in the diaspora, influenced the literary personality of the writer in such a way that it involuntarily acquired the features inherent in the *Smenovekhovstvo* movement. For the first two years in Germany, where he fled to escape the unbearable conditions of life in Russia, Alexey Remizov retained the right to return to Petrograd. Due to this voluntary position of a "temporary" emigrant in the history of the literary process of the early 1920s, a number of events of his creative life was captured in the landscape of the *Smenovekhovstvo*. The article presents the first analysis of Remizov's essay "The Hook. Petersburg's Memory" (1922), which, at first glance, supports N. Ustryalov's program aimed at organizing the return of emigrants to their homeland. Individual perception of the *Smenovekhovstvo* ideologemes is discussed using the example of the behavior of two writers in a specific ideological situation. One is the case of Remizov as a "temporary" emigrant writer in 1921-1923, the other is the case of Prishvin as a writer who, after the October coup, took the position of an "internal emigrant". Based on Prishvin's diary, the article reveals the tragic story of the perception of Remizov's essay "The Hook" (1922) and the attitude of the two writers to the concept of "patriotism", one of the main motives of the "return home" movement. The article offers a new perspective on the history of the relationship between the two like-minded authors and restores the context of their unknown correspondence from 1922-1923, fragments of which have survived in Prishvin's diaries, and in one letter that was published as Prishvin's essay "Sopka Mair" ("The Hill Mair", 1922). The essay was addressed to Remizov and contained an "answer" to the essay "The Hook". This article is part of a study of Remizov's works, viewed as a reflections of individual experience in the history of the first wave of Russian emigration.

*Keywords:* first wave of Russian emigration, *Smenovekhovstvo*, National Bolshevism, *Vozvrashchenchestvo*, inner emigration, patriotism, reception, ideology, writer's behavior, Russian Berlin, Russian émigré periodical literature

DOI 10.31860/2712-7591-2020-3-91-111

Создатели и приверженцы идейно-политического направления, получившего название по изданному в Праге сборнику «Смена вех» (1921), видели одну из своих задач в изменении отношения русской эмиграции к новой России. Идеологи так называемого национал-большевизма расценивали узаконенный в 1917–1921 гг. политический режим как «национальный фактор современной русской жизни» [Устрялов, 1920, с. 5] и проявление особого мессианства, способного изменить социально-политический ландшафт старой Европы. В соответствии с этими выводами они призвали зарубежных соотечественников к сотрудничеству с большевиками на благо новой национальной государственности. В среде покинувшей Россию творческой интеллигенции подобные патриотические мотивы признания итогов Октябрьского переворота были приветственно восприняты лишь незначительной частью эмигрантов.

«Русский» Берлин из всех европейских столиц представлял собой наиболее значимый центр ассимиляции диаспоры и представителей метрополии — в лице отдельных советских «командировочных», осуществлявших в период НЭПа совместные проекты Госиздата с эмигрантскими издательствами. Не прекратившиеся в 1921–1922 гг. контакты с московскими и петроградскими литераторами зачастую способствовали внедрению энтузиазма строителей новой культуры в сознание тоскующих по родине беженцев<sup>2</sup>. Только в Берлине оказалось возможным осуществление на средства ВКП(б) советского модуса сменовеховства, реализованного в создании такого печатного органа, как газета «Накануне», которая достаточно быстро объединила вокруг себя контингент, готовый к «смене вех».

История не зафиксировала массового и последовательного вовлечения представителей литературной эмиграции в сменовеховское движение. Из всей программы был усвоен скорее патриотический и гражданский пафос, сильно подогретый ностальгическими иллюзиями. Уже начиная с августа 1922 г. потянулся ручеек уезжающих в Россию: кто с громким политическим скандалом, как Алексей Толстой<sup>3</sup>, кто с отчетными Открытыми письмами в редакцию «Накануне», как И. С. Соколов-Микитов<sup>4</sup>, кто в эйфории, как, например, парижский поэт М.-Л. Талов — для долгожданной встречи с «Невестой» Россией<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> См., в частности, о влиянии Б. Пильняка на настроения берлинских «возвращенцев»: [Гуль, 1927, с. 211]. Об этой же тенденции см. в аналитическом исследовании: [Квакин, 2006, с. 61].

<sup>3</sup> См. [Толстая, 2005, с. 446–472; Толстая, 2013, с. 214–224].

<sup>4</sup> [Соколов-Микитов, 1922, с. 7].

<sup>5</sup> См. о нем: [Обатнина, 2018b, с. 35].

Алексей Ремизов в течение первых двух лет своего пребывания в Германии, куда он сбежал, спасаясь от невыносимых условий жизни в России, сохранял свое право на возвращение в Петроград. В связи с этим добровольным положением «временного» эмигранта ряд событий его творческой жизни 1921–1923 гг. по внешним признакам оказался в истории литературного процесса начала 1920-х гг. запечатлен «на фоне» сменовеховства. Эта же идеологическая декорация сопровождала появление в эмигрантской биографии писателя ранее неизвестного героя. В 1923 г. к числу новых знакомых Ремизова присоединился очередной посланник Советской России — Исай Григорьевич Лежнев, идеолог советского национал-большевизма, основатель и редактор единственного на советском пространстве 1922–1926 гг. «беспартийного» журнала «Новая Россия» («Россия»)<sup>6</sup>. Именно в результате редакционной деятельности Лежнева, опубликовавшего на страницах своего журнала автобиографию писателя, имя Ремизова было поставлено в контекст истории сменовеховства<sup>7</sup>. В свете этой публикации предполагавшееся в 1922–1923 гг. возвращение Ремизова в Россию могло быть воспринято по обе стороны советской границы как логическое следствие сотрудничества.

Патриотическая тема, прозвучавшая в программной статье идеолога движения Н. В. Устрялова «Patriotica» (1921), не обошла стороной писателей, оставшихся в России. Есть внутренняя закономерность в том, что проблема будущего России, поднятая зарубежными сменовеховцами, заставила вернуться в Москву из лесных дебрей Смоленщины М. М. Пришвина, давнего друга и единомышленника Ремизова. Для понимания неоднозначных причин, в силу которых литературная личность этого писателя, так же как личность Ремизова, приобрела сменовеховские коннотации, рассмотрим две взаимосвязанные модели писательского поведения в конкретной идеологической ситуации — Ремизова как «временного» писателя-эмигранта в 1921–1923 гг. и Пришвина — писателя, после Октябрьского переворота занявшего позицию «внутреннего эмигранта».

\* \* \*

Алексей Ремизов, мучительно адаптируясь к жизни в Берлине и постоянно заявляя в печати о скором своем возвращении в Петроград<sup>8</sup>, разуме-

<sup>6</sup> См. публикацию писем Лежнева, адресованных Ремизову: [Обатнина, 2021].

<sup>7</sup> См.: [Ремизов, 1923, с. 25–26]. Подробнее историю публикации см. во вступ. статье к письмам Лежнева к Ремизову [Обатнина, 2021].

<sup>8</sup> Подробнее см.: [Обатнина, 2018а].

ется, задавался вопросом, какие цели ставит перед собой сменовеховское движение, когда агитирует эмиграцию развернуться лицом к Советам. Для писателя-индивидуалиста всякое руководство его личной и творческой жизнью извне было достаточно подозрительным фактором, подразумевающим манипуляцию и ограничение свободного выбора. Свершившийся переворот воспринимался им как неминуемая катастрофа, обусловленная самим ходом истории России. В 1917 г. он вместе с Пришвиным и Соколовым-Микитовым еще пытался средствами политической сатиры противостоять насильственной большевистской власти<sup>9</sup>, но после Октября самоустранился от политических оценок новой реальности, публично защищая только общекультурные ценности. В эмиграции, вопреки ожиданиям соотечественников, не признававших Россию с большевиками, Ремизов неоднократно демонстрировал оптимистический взгляд на постреволюционное поколение литературной молодежи, хотя его позиция утвердилась независимо от сменовеховской агитации<sup>10</sup>. Не последнюю роль в политико-идеологической ориентации Ремизова за рубежом сыграло мнение находящегося в Германии М. Горького. Так, описывая в письме к жене встречу на открытии берлинского Дома ученых 20 мая 1922 г., писатель ограничился лишь короткой фразой: «Разговаривал и о „Вехах“. Горький *тоже* (курсив мой. — Е. О.) против» [Ремизов, 2018, с. 55]. Лапидарность высказывания в контексте ежедневной переписки является красноречивым подтверждением уже состоявшейся в сознании супругов оценки сменовеховства. Заметим, что вечер того же дня Ремизов провел в компании Алексея Толстого. «Рабоче-крестьянский граф», как вскоре прозвали Толстого и на родине, и за границей, к этому времени уже был изобличен в сотрудничестве со сменовеховской газетой «Накануне» и, готовясь к отъезду в Москву, публично заявил, что ради идеи «великодержавности России» он готов «признать реальность существования (...) правительства, называемого большевистским, признать, что никакого другого правительства ни в России, ни вне России — нет», а также «делать все, чтобы помочь последнему фазису русской революции пойти в сторону обогащения русской жизни и т. п.» [Толстой, 1922, с. 2].

В отличие от зарубежных непримиримых борцов с большевизмом Ремизов и Горький ценили талант младшего соотечественника и даже сочув-

<sup>9</sup> Подробнее см. [Субботин, 1992].

<sup>10</sup> Возникшее тогда же евразийское направление по формальным признакам, исключая агрессивный антагонизм по отношению к Советам, с тем же успехом могло рассчитывать на привлечение Ремизова в свои союзники. О взаимоотношениях с евразийцами см.: [Письма Святополк-Мирского к Ремизову, 2003; Обатнина, 2019, с. 24–27].

ствовали его положению «изгоя»<sup>11</sup>. Несмотря на давнюю историю отношений, в свое время омраченную именно специфической этикой «графа»<sup>12</sup>, Ремизов, например, узнав об исключении Толстого не только из парижского Союза писателей, но также из берлинского писательского объединения, был поражен, насколько политическая составляющая устройства эмигрантской жизни оказалась существеннее, чем собственно профессионально-цеховая. В следующем письме он делился с женой: «Очень меня взволновало, узнал, что и здешнее „Литератур(ное) общест(во)“ изгоняет Толстого. Уж больно это нехорошо. Все-таки, что бы человек ни сделал, а лишать писател(ьского) звания нельзя» [Ремизов, 2018, с. 64]<sup>13</sup>.

Что касается личных взаимоотношений Ремизова с редакцией газеты «Накануне», то обошлось без притязаний на взаимную симпатию: писатель ни в газете, ни в ее литературном приложении никогда не печатался<sup>14</sup>, да и среди сотрудников «Накануне» не нашлось настоящих поклонников его таланта. Отклики наканунеевских рецензентов на две наиболее «ностальгические» книги Ремизова, посвященные памяти о России, — «Ахру. Повесть петербургская» (1922) и «Кукха. Розановы письма» (1923) — отличались непривычной резкостью трактовок ремизовских произведений<sup>15</sup>, которая в эти годы еще не проявлялась даже в лагере наиболее последовательных противников большевизма, зачисливших Ремизова за его связи с советской печатью в «красные» писатели. Вполне вероятно, что причиной негативного

<sup>11</sup> Ср. мнение о Толстом, высказанное З. Н. Гиппиус в письме С. П. Ремизовой-Довгелло 13 апреля 1922 г.: «...тут играл непримиримость, а теперь говорит, что т(ак) к(ак) он первый русский драматург, то обязан ехать в Россию, (...) для начала Толстой пошел в „Накануне“, цель которого, как объявлено, разложить и „доканать“ русскую эмиграцию...» [LampI, 1978, S. 172].

<sup>12</sup> Подробнее см. историю взаимоотношений, связанных с инцидентом на маскараде 1911 г. [Обатнина, 2001, с. 61–77].

<sup>13</sup> Ср. позднюю авторскую редакцию этого фрагмента: «Что меня очень взволновало: узнал, что за парижским и наше берлинское „Литературное общество“ изгоняет А. Н. Толстого за „сменовеховство“. Все-таки, что бы человек ни сделал, а лишать его имени „писателя“ нельзя. А кроме того, Толстые не на каждом шагу, и кто это исключает, какие это писатели — „мошकारа“» [Ремизов, 2018, с. 56]. Ср. также письмо Горького Н. И. Бухарину от 1 июня 1922 г. по поводу скандала вокруг имени Толстого в эмиграции: «...вот, сейчас здесь травят Алексея Толстого, вероятно, сегодня ему устроят публичный скандал. С какой дикой злобой пишут о нем „Руть“ и „Голос“. А человек этот виноват только в том, что он — искренний человек и великолепный художник» (цит по: [Примочкина, 2003, с. 114]).

<sup>14</sup> Среди корреспонденции Ремизова сохранилось одно письмо редактора только что образованной газеты «Накануне» (первый номер вышел 22 марта 1922 г.) Ю. В. Ключникова от 29 марта 1922 г., в котором говорится о необходимости встречи «по некоторым литературным делам» (Amherst College Center for Russian Culture, USA. В 1. F. 5. P. 2).

<sup>15</sup> См. отклик, в значительной степени посвященный книге «Ахру» [Василевский, 1922], а также [Гуль, 1924].

восприятия ремизовских книг в этой среде послужил эффект своего рода обманутого ожидания, возникшего после первого значительного выступления писателя в эмигрантской печати с очерком «Крюк. Память петербургская» [Ремизов, 1922]<sup>16</sup>. Содержательный посыл этого, пожалуй, единственного в своем роде художественно-публицистического произведения, вписывающегося в парадигму автобиографической прозы писателя, по внешним признакам отвечал не только настроениям идеологов национал-большевизма, связывавших с Россией мечту о новом государстве, но и их призыву к эмигрантам возвращаться домой<sup>17</sup>.

Между тем только ангажированное сменовеховством читательское восприятие могло не заметить принципиальной разницы в содержании сходных культурных категорий и идей, с помощью которых Ремизов объективировал взгляд на реальность, совершенно независимый от идеологических влияний. Вынесенное в заголовок слово *Крюк* Ремизов возводил к немецкому *die Krücke* и на семантических значениях исходного корня обосновал тему «своей» России как единственной «опоры», позволяющей мыслить и работать. По самоощущению Ремизова, сконцентрированному на болезненной адаптации к положению эмигранта, «русскому писателю (...) без России никак невозможно» (с. 6).

В этой интерпретации с образом вынужденно покинутой родины связывается вовсе не великое будущее рабоче-крестьянского государства, обещающее большевиками, а напротив, лишенное поэтического ореола место приложения творческих сил — крюк, на который «вешают, *вешаются*, и которым крюком зацепив крючник *тяжести неохватимые тащит, крюк-опора* (курсив мой. — *Е. О.*)» (с. 6). В таких конкретно-объективных словообразах выразилась ремизовская мысль о России как о судьбе, и нередко гибельной судьбе, которую не выбирают, но которой неизбежно обречен следовать писатель, в отличие от художника, философа и ученого, преимущественно космополитичных в своем мировоззрении: «Писатель не философ, это философ, как балерина, музыкант и художник, — планетные, его куда хочешь ткни, везде ему дом от океана до океана и от пупа ледяного до пупа ледяного» (с. 6).

<sup>16</sup> Текст был опубликован с авторской датировкой: *1. XII. 1921. Берлин*. Впоследствии очерк в сокращенной редакции включен в книгу «Ахру. Повесть петербургская» (Берлин; Пб.; М.: Изд-во З. И. Гржебина, 1922). Далее цитаты в тексте приводятся по первой публикации с указанием страниц в скобках.

<sup>17</sup> Идея, в частности, была выражена в программной статье С. С. Чахотина «В Каноссу!» («Смена вех», 1921).

В очерке со всей определенностью была заявлена и тема национального самовыражения отечественной литературы, черпающей вдохновение в «русской стихии», что, с точки зрения вовлеченных в движение сменеховства читателей, несомненно, обнаруживало в Ремизове союзника, утверждающего особый мессианско-национальный характер русского народа. Восходящий к народническому идеализму постулат о сугубо национальном стремлении к воле заключался в тираде: «...пройди ты всю землю с края на край, нигде на всем свете так не пламенна мечта о воле, как только в России» (с. 7).

Характерно, что писатель, используя слово «воля», вкладывал в него не столько определение цели революционных преобразований в устройстве общества, сколько стихийную энергию неизбывной народной мечты, послужившую детонатором октябрьского катаклизма. Ремизов, остро переживая бедственное положение рунированной страны и не забывая о первых жертвах большевистского террора (о расстреле Гумилева он вспоминает в своем очерке дважды), рассказывал и о первых обнадеживающих признаках зарождения новой культуры, которая «проросла» на старом фундаменте и нуждалась в опыте и мастерстве писателей ушедшей России. Представитель творческого труда новой эры, по Ремизову, это, прежде всего, зрелый писатель — «не гость, а свой оголтелый», который, «пройдя весь крестный путь новой жизни (а ведь в мир идет новая жизнь!) сохранит ее огненную душу в слове» (с. 6), а также воспитанная им литературная молодежь, открытая как европейской, так и отечественной традиции. Писатель, спасшийся из советского Петрограда, вопреки ожиданиям многих соотечественников, более всего из пережитого в постреволюционном Петрограде ценил воспоминание о голодной, но радостной весне 1920 г., когда «Дом Искусств и Дом Литераторов огласился новыми молодыми птичьими голосами», «и эту весну, — признавался Ремизов, — не забыть» (с. 7). Публикация «Крюка» в первом номере «Новой русской книги» за 1922 г. стала частью эмигрантского дискурса, посвященного новой России, выразителями которого вместе с Ремизовым выступили Андрей Белый и И. Эренбург, — которые также находились под обаянием молодежных творческих сил весны 1920–1921 гг.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Так, А. Белый в статье «Культура современной России», как и Ремизов, описывал тот же процесс обновления, участником которого стал сам: «Весной 1920 года повеяло вдруг какой-то бурной, полной новых возможностей весной: это „независимые“ люди новой, духовной революции перекликались друг с другом, пока безымянные...» [Белый, 1922, с. 3]. Между тем возвращение Белого в Москву в реальности не имело под собой идеологической подоплеки. И. Эренбург, находившийся за рубежом в качестве советского журналиста, также не нуждался в сменеховской идеологии.



Номинативный и даже эмблематический принцип ремизовских воспоминаний, несомненно ориентированных прежде всего на эмигрантскую аудиторию, призван был при помощи культурных сигнатур предъявить образ новой русской литературы, который для писателя был персонифицированно связан с именами его учеников — представителей группы «Серапионовы братья» и именами классиков единого культурного пространства:

«...какое имя у молодой поросли русской под огненный буй и шум?

Слышу — Гофмана — Гоголя — Достоевского —

А. Белого — Ремизова

— словарь — слово —

слово — исток письма

матерьял — Россия

современность

1918–1920» (с. 7–8).

Первенство имени Гофмана в ряду названных культурных ориентиров подчеркивало авторское убеждение в преемственной связи современной русской литературы с немецкой романтической традицией. Мысль об общности культурного пространства очевидным образом была противопоставлена идее мессианского предназначения России в европейском мире. Смысловое значение в очерке имеет и композиционное построение. Обрамлением основного текстового корпуса послужили короткие наблюдения этимологического характера с использованием несколько шокирующих просторечных реплик, не требующих пояснений в своей очевидности: «...крюк-опора — die Kücke — слово немецкое и очень-то нос задирать нечего!» (с. 6); «И вот еще: и не только крюк-опора, а и сама дратва — эта связь и спай — наша сапожная дратва — проволока, провод — der Draht — тоже немецкое слово и морду пожалуйста не вороти!» (с. 10).

Именно эти экспрессивные выражения заставляют задуматься о полемическом звучании очерка, который адресовался в том числе и сменовеховцам, выдвинувшим тезис об исключительности роли России для судьбы Европы. При помощи своих лингвистических находок автор упорно настаивал на том, что при всей самоценности русской национальной культуры она принадлежит европейскому пространству по естественному ходу становления, где с условной опорой-крюком соединены прочной связью (der Draht) явления языка и культуры. Таким образом, Ремизов подчеркивал принципиальное отличие собственных представлений о патриотизме от сменовеховской идеологии, пытавшейся внедрить в сознание соотечественников ложную мысль о национальном превосходстве России.

В эмигрантском сообществе «Крюк» был прочитан под кардинально разными углами зрения. Для зарубежных сменовеховцев очерк, очевидно, представлял собой публичное заявление известного писателя-эмигранта, в котором была сформулирована, в сущности, идея «особого пути России» и выражены надежды на сохранение в революционной буре культурного фундамента. Ремизовское же убеждение в том, что «русскому писателю да еще в такую пору — столпотворенную — без России никак невозможно» (с. 6), могло быть даже позаимствовано сменовеховцами для девиза движения «возвращенцев».

В другом лагере у Ремизова тут же нашлись оппоненты. Анонимный рецензент газеты «Руль», несомненно выражавший редакционную позицию категорического отказа от сотрудничества с «Совдепией», поставил под сомнение лингвистическую компаративистику писателя, язвительно заметив: «...пребывание в Берлине обогатило А. Ремизова познаниями в немецком языке, но познания эти пока, по-видимому, очень скромны. Только этим и можно объяснить, что он уверяет, будто русское слово „крюк“ обозначает то же самое, что немецкое „Krücke“. На этом он даже построил заглавие своего очерка. Приходится сказать ему, что Krücke совсем не „крюк“, а просто костыль. Значит, и вся игра слов пропадает [Руль, 1922, с. 6]<sup>19</sup>.

Однозначно негативно — как соглашательство с большевиками — расценила аналогичные высказывания Ремизова в эмигрантской прессе и З. Н. Гиппиус, представлявшая мнение парижской литературной и политической эмиграции, наиболее радикально настроенной к «Советам». Ее реакция, не лишенная сарказма, прозвучала в письме к жене писателя С.П. Ремизовой-Довгелло от 1 февраля 1922 г.: «...радость велія по этому поводу у большевиков, они на моих глазах это раздувают, везде кричат и на Ал(ексея) Мих(айловича) ссылаются, что вот и он понял советскую власть, и он советует эмигрантам возвращаться к ней, — в Россию» [Lampf, 1978, S. 171].

Таким образом, публикация очерка «Крюк» создала вокруг Ремизова конкретный идеологический контекст. Характерно, что и сменовеховцы, и их оппоненты увидели в новом произведении Ремизова только ожидаемый ими смысл. Однако тезисы идеологии национал-большевизма, особенно в том ключе левого народничества, который получил развитие на страницах просоветской газеты «Накануне», только формально совпадали с высказанными в «Крюке» ремизовскими оценками современных тенденций зарождающей-

<sup>19</sup> Здесь стоит вступить за Ремизова, уточнив, что русское существительное «крюк» и немецкое «die Krücke» являются производными древнескандинавского «krókr» (крюк) [Фасмер, 1986, с. 390].

ся советской культуры. При внешнем сходстве с «виталистской риторикой» идеологов сборника «Смена вех», рассматривавших процессы становления Советского государства с точки зрения «философии самоутверждающейся жизни» [Дмитриев, 2010, с. 80], публицистический пафос очерка «Крюк» отличался тем, что был личным выражением чувства преданности культуре, неотделимой частью которой Ремизов себя ощущал<sup>20</sup>.

\* \* \*

Эмигрантские рецепты очерка «Крюк» кажутся вполне предсказуемыми, чего не скажешь о той «цепной реакции», которую спровоцировало это произведение в сознании оставшегося в России М. М. Пришвина. Начнем с того, что Пришвин испытывал искренний пиетет к литературной личности Ремизова, считая его поэму «Слово о гибели Русской Земли» (1917) «художественным памятником русского патриотизма», равнозначным «Слову о полку Игоре» и «Истории государства Российского» Карамзина [Пришвин, 2016, с. 195]. Пришвин был убежден в ремизовском особенном чувстве «родины», выражение которого не дискредитировалось политическими или националистическими мотивациями.

«Ремизов чрезвычайно оригинальный писатель, — писал он в своем дневнике, — единственный русский писатель-патриот; это слово — патриотизм — без чувства пошлости можно соединить с именем единственного писателя Ремизова. Я помню случайные сочинения, напр(имер), Родионова «Наше преступление», — в них также есть это чувство боли за Россию, но эта боль выводит в мрак, в публицистику черносотенца, Ремизов всегда остается чистым в грязи... Если спросить себя, можно ли было жить в России с ненавистью в сердце к поработителям народа и не примкнуть к лагерю людей, создавших ее гибель слева, то скажешь, что нельзя было, но Ремизов исключение: он мог жить так, как юродивый» [Пришвин, 2016, с. 59].

---

<sup>20</sup> В этом смысле Ремизов сближался с Андреем Белым, для которого понятие «патриотизм» имело отношение к ноосфере, которая возникла как результат творческой работы единомышленников, объединенных общей судьбой на фоне исторических сломов русской жизни. Уникальным «очагом» творческого свободомыслия в пореволюционные годы стала для Белого «Вольная философская ассоциация» («Вольфила»). Ср. высказывание, обращенное к Иванову-Разумнику по возвращении в Москву из Берлина в ноябре 1923 г.: «Да, Разумник Васильевич, я не только остался патриотом „Вольфила“, но стал также патриотом свободного „вольфильствования“. И — да, все высокое и светлое, что было пережито нами совместно в связи с русской революцией, стало в сознании еще выше и еще светлее, а сравнение современной Германии с современной Россией сделало меня „патриотом“ России (в особом скифском смысле). Ужасна Германия: организовано, бездыханно, серо, и „согласительски“ тихо садится на дно» [Андрей Белый и Иванов-Разумник, 1998, с. 249].

Не изменилось это отношение и после того, как стало известно, что «Ремизов убежал за границу» [Пришвин, 2016, с. 289], потому что для самого Пришвина, укрывшегося в деревенской глуши от новой власти, в которой он явственно распознал Левиафана, петроградская жизнь была не ближе, чем для Ремизова, поселившегося в Берлине. Он так и писал Иванову-Разумнику, отвечая на торжество «скифа»-максималиста, узнавшего из газет, что их товарищ теперь «раскаивается» в своем решении эмигрировать:

«Вообще вас всех, ученых, образованных и истинных людей в Петербурге, я считаю людьми заграничными, и вы меня маните, как за граница, как бегство от чудища. (Что вы спорите с Ремизовым, где быть, в Питере или за границей, мне кажется делом вашим семейным.) Много раз я пытался уехать за границу (или в Питер), и каждый раз меня останавливала не мысль, а чувство, которого я выразить не могу и которого стыжусь: оно похоже на лень, которую Гончаров внешне порицает в Обломове и тайно прославляет как животворящее начало...» [Пришвин, 2016, с. 318–319].

В марте 1922 г. Пришвин, все же сделав над собой усилие, отправился в Москву на литературные заработки и сразу оказался в орбите деятельности И. Г. Лежнева. Обстоятельства их знакомства неизвестны, но уже во втором номере только что образованного журнала «Россия» появился очерк «Письмо из Батищева», практически объявивший о возвращении писателя в литературную жизнь столицы. Пришвин, очевидно, тогда же изучил программу сменовеховцев и четко представлял себе границы их целей. Например, по его наблюдениям, принципы дальнейшей политики национал-большевизма, намеченные соратником Лежнева В. Г. Таном-Богоразом, сводились к следующему: «Некоторый минимум мира необходим для творчества, и потому надо находить пути сближения с большевиками» [Пришвин, 2016, с. 359]<sup>21</sup>. Самого же редактора и идеолога советского сменовеховства он сразу отметил как человека, рожденного для осуществления НЭПа. Возможно, полагаясь именно на утверждения Лежнева, Пришвин в своем дневнике называет решающую силу современной советской жизни в ближайшей перспективе становления государственности. Это «мужик, мелкий буржуа — вот всему основа, и он, формируясь, овладеет процессом» [Пришвин, 2016, с. 359].

Лежнев, лично познакомившийся с Ремизовым осенью 1923 г., в своих письмах, адресованных писателю по возвращении в Москву, старался создать впечатление некоего литературного единомыслия и творческого союза

<sup>21</sup> В издании Дневников [Пришвин, 2016], несомненно, допущена опечатка: не «Тон», а «Тан (Богораз)».

с отдельными представителями «старой» и «новой» литературы, входившими в ближайший ремизовский круг друзей. Поэтому имя Пришвина в его упоминаниях выполняло функцию «пароля», гарантирующего доверительность в общении корреспондентов. Отчитываясь по приезде из Берлина о выполнении ремизовских поручений, он писал: «Все книги с надписями и в Москве, и в Петрограде переданы по назначению. Особый энтузиазм проявлял М. М. Пришвин, который, кажись, собирается писать Вам»<sup>22</sup>.

Однако отмеченный Лежневым пришвинский «энтузиазм» был скорее лишь маскировкой подлинных настроений писателя. Отнюдь не радостной эмоциональной палитрой окрашен его дневник этого времени. Несколько дней спустя после упомянутой Лежневым встречи, 7-го ноября, Пришвин действительно принимается за письмо своим старым друзьям — супругам Ремизовым, которое начинает с рассказа о том, как публикация очерка «Крюк» в «Новой русской книге» изменила вектор его «самоустранения» от жизни «под чудищем», на возвращение к творческой активности: «Прощлый год, в это время, я выбрался из глуши в Москву, прочитал, что Вы пишете („Крюк“ и др.), обрадовался, взобрался сам на волну и начал сочинять свои писания» [Пришвин, 2009, с. 63].

Далее письмо в весьма прикровленной форме содержало поистине трагический рассказ о том, как желание воспрянуть творчески было встречено глухим и непроницаемым идеологическим заслоном. Он продолжал: «Если бы это волна была правильная, то непременно мы бы с Вами встретились, и я Вас все поджидал. Но это оказалась волна неправильная, сам шеф нашего литературного движения объявил, что литература отходит опять на задний план. Все мои большие замыслы разбиты, и опять из-за куска хлеба бьюсь, как рыба об лед. Опять не до писем без дела» [Пришвин, 2009, с. 63].

Как видно из строк черновика, Пришвин избежал пространных описаний пережитого потрясения, да и, судя по всему, вообще не отправил своего письма<sup>23</sup>. Однако смысл пришвинских строк позволяет нам понять логику его действий как адекватных контексту сменовеховского движения. Что же могло особенно вдохновить Пришвина в очерке «Крюк»? Все, что он прочел о петроградской жизни, было ему хорошо известно, но вот не-

<sup>22</sup> Amherst. Series 1. B. 1. F. 9.

<sup>23</sup> Очевидно, что и это письмо так и не было отправлено, хотя в дневнике писателя за 1924 г. встречаются краткие записи, свидетельствующие о планах написать Ремизовым. Не случайно лейтмотивом обоих писем стала мысль о невозвратном времени, когда писатели жили событиями общей истории и понимали друг друга без лишних объяснений. См. об этом в нашем комментарии к письмам Лежнева в изд.: [Обатнина, 2021].

зависимость его литературного учителя<sup>24</sup>, который, находясь в эмиграции, в среде, по преимуществу оппозиционной «новому» русскому миру, написал о своих надеждах, связанных с Россией, не могла его не затронуть. И тогда он тоже возмечтал у себя в Москве выразить правдивый, индивидуальный взгляд на действительность, который оправдывал бы его участие в литературной жизни Страны Советов. Страницы дневника Пришвина за 1922 г. позволяют раскрыть «умолчания» в незаконченном письме Ремизову. На самом деле за недомолвками эпистолярного текста стояло желание рассказать о попытке напечатать книгу «Мирская чаша. 19-й год XX века» (другое название — «Раб обезьяний») и о его прошении к Л. Троцкому, написанном с очевидными, как ему казалось, аргументами от лица не «врага», а писателя, переживающего за будущее советской литературы. В официальном обращении к председателю Реввоенсовета он просил прочесть его повесть и содействовать ее публикации, поскольку судьба этого произведения оказалась в прямой зависимости от партийных установок. Предвидя реакцию на свое произведение, он писал: «...из беседы с т. Воронским выяснилось, что едва ли цензура ее разрешит, т. к. повесть выходит за пределы данных им обычных инструкций. За границей я ее печатать не хочу, так как в той обстановке она будет неверно понята, и весь смысл моего упорного безвыездного тяжкого бытия среди русского народа пропадет. Словом, вещь художественно-правдивая попадет в политику и контрреволюцию. Откладывать и сидеть мышью в ожидании лучших настроений — не могу больше. Вот я и выдумал обратиться к Вашему мужеству, да, советская власть должна иметь мужество дать существование целомудренно-эстетической повести, хотя бы она и колола глаза» [Пришвин, 2016, с. 354].

Через некоторое время партийный руководитель передал писателю через Воронского свое мнение: «Признаю за вещь крупные художественные достоинства, но с политической точки зрения она сплошь контрреволюционна» [Пришвин, 2016, с. 362–363].

Эти события из пришвинской биографии относились к сентябрю 1922 г., а весной 1923-го в борьбе за право на свое индивидуальное творчество, отстаивая свой «дом личности», как он выразился в письме к Троцкому [Пришвин, 2016, с. 354], Пришвин с марта по май публикует три очерка в берлинской «Накануне». Заметим, что в это время филиал редакции газеты уже

---

<sup>24</sup> Ср. также отклик на воспоминания Ремизова и Гиппиус, опубликованные в эмигрантской печати: «До чего хорошо написал Ремизов о Розанове во 2-м №-е „Окна“ и тоже Гиппиус в 3-м „Окне“. Вот старики! у нас тут и не веет даже...» [Пришвин, 2009, с. 204; запись от 22 сентября 1923 г.].

открыт в Москве и некоторые «попутчики», не допускающиеся на страницы пролетарской печати, публиковались в Берлине<sup>25</sup>.

Дневник Пришвина не раскрывает истории его взаимоотношений с накануневцами. О факте сотрудничества писатель упоминает *post factum* и лишь в связи с сомнениями, отвечать на письмо Ремизова или нет. В дневнике от 16 марта 1923 г. Пришвин оставил эмоциональную запись: «Приехала Мар. Мих. Шкапская из Берлина. Иду к ней, говорят, Ремизов через нее мне что-то хочет передать, если это будет упрек за сотрудничество с А. Толстым в „Накануне“, я отвечу Ремизову, что обнять Алешу ничего, в худшем случае он пёрднет от радости и через минуту дух разойдется, а довольно раз поцеловать Пильняка, чтобы всю жизнь от следов его поцелуя пахло селедкой» [Пришвин, 2009, с. 7].

Еще только собираясь прочесть ремизовское послание из Берлина, Пришвин уже испытывал прессинг коллективного мнения, угнетающего его личный выбор свободного писателя. Сразу оговоримся, что опасения были сильно преувеличены болезненным переживанием самого Пришвина, которому вообще были свойственны рефлексии на тему ответственности за личные поступки перед судом истории<sup>26</sup>. Процитированная эскапада обнаруживает очевидный факт соотнесения Ремизова с Б. Пильняком, к которому Пришвин в 1923 г. после кратковременного сближения 1922 г. уже испытывал недоверие не только как к умевшему до известной степени совмещать авторскую свободу и толерантность к официальной идеологии<sup>27</sup>, но и как к носителю совершенно иного писательского опыта. Для Пильняка, как судил Пришвин, Октябрьская революция и ее последствия представляли собой богатый литературный материал и одновременно повод к искусственной возгонке энтузиазма и патриотизма. К чувствам Пришвина примешивалась

<sup>25</sup> См., в частности, о сотрудничестве М. Булгакова в комментариях [Булгаков, 1989, с. 84–88]. Ср. принципиальную позицию А. А. Ахматовой, опротестовавшей публикацию своих стихотворений, появившихся в «Накануне» без ее ведома (см.: Литературные записки. 1922. 1 авг. С. 23). См. также: [Рубинчик, 2019, с. 41–55].

<sup>26</sup> Комплекс вины, связанный с прецедентами публикаций в «Накануне», по-видимому, проявился в другой дневниковой записи, которая отражает психологию интеллигента, осознающего свою причастность к российской истории: «Я — виноват, это значит, я — свободный человек, то есть я что-то сделал свободно, что-то причинил — я! И я же изменил этот путь свой, нахожу его неправым: я виноват, делайте со мной что хотите, я отдаю свое прошлое на казнь (вам ведь нужен козел отпущения), но что бы вы ни делали с ним, с моим прошлым, в настоящем я — свободен, это другое я, и в будущем жизнь моя будет другая» [Пришвин, 2009, с. 18].

<sup>27</sup> Мироззренческие расхождения Пришвина с Пильняком начались в 1922 г., когда выяснилась разность писателей в художественном описании революционной действительности в романе Пильняка «Голый год» и пришвинской «Мирской чаше». Подробнее см. в черновиках писем Пришвина своему оппоненту [Пришвин, 2016, с. 360–361].

и обида, что в эмиграции на место друзей-единомышленников в окружении Ремизова заступили друзья-«подмастерья»<sup>28</sup>, об эмигрантстве которых он с досадой задавался вопросом: «Почему посев Ремизова дает такие дурные всходы, почему у него переняли только манеру (довольно дурную), а все его святое (возрождение России) осталось втуне?» [Пришвин, 2009, с. 8].

Пришвинские публикации в «Накануне» выглядят также намеренным контр-действием по отношению к Пильняку, который в мае 1922 г. отличился небывалой принципиальностью, публично в эмигрантской печати отказавшись от сотрудничества с газетой. В своем заявлении писатель, внешне охранявший личную свободу от влияния партий и идеологий, мотивировал принятое решение тем, что печатающиеся в газете выбирали позицию отчуждения от России, вместо того чтобы писать о ней изнутри. Его заявление имело очевидное созвучие с основной темой очерка Ремизова «Крюк» («русскому писателю без России никак невозможно»), однако уже не ставило под сомнение справедливость избранного социалистического пути: «Тем, кто хочет быть с Россией, — должно быть в России — должно перепроверить свои вехи, — тем надо знать будни России» [Пильняк, 1922, с. 43].

Весной 1923 г. Пришвин после провала его повести «Мирская чаша» демонстративно публикуется в «Накануне» как человек, знающий всю изнанку современной советской жизни: от глухой деревни, где среди общей растерянности человек, как и встарь, жив милосердием, — до московской, где, по его словам, наступило «время садического совокупления власти с литературой» [Пришвин, 2016, с. 254]. Если первые два очерка Пришвина были посвящены деревенским реалиям, то третий — «Сопка Маира» — представляет собой послание, в котором он, обращаясь к некоему «зарубежному другу», описал создавшийся в Москве непреодолимый тупик для свободной творческой работы. Исследователи справедливо угадывают за мифическим зарубежным корреспондентом вполне конкретного Ремизова<sup>29</sup>. Однако мотивы для такой адресации актуализируются только в связи с содержанием очерка «Крюк». Сопоставив фрагменты неотправленных пришвинских писем с историей несостоявшейся публикации его «Мирской чаши», мы определенно можем сказать, что очерк «Сопка Маира» представлял собой «открытое письмо», в котором содержался ответ на оптимизм ремизовского «Крюка», воспринятый Пришвиным как патриотическое «прекраснодушие».

<sup>28</sup> Историю отношений писателей см. во вступительной статье к публикации: [Пильняк — Ремизов, 2003], а также в материалах эпистолярного наследия [Пильняк, 2010, по именному указателю].

<sup>29</sup> См. коммент. в изд.: [Пришвин, 2004, с. 601].



Если очерк «Сопка Маира» в манере инверсивной иронии, замещающей чувство патриотизма чувством благодарности американскому фонду помощи, рассказывает о нищете и неустройстве писательского быта и об упадке профессиональных навыков издательских работников, превращающих усилия писателя в фарс, то дневниковые записи констатируют совершенно безвыходную ситуацию: «...я понял, что я в России при моем ограниченном круге наблюдений никогда не напишу легальной вещи, потому что мне видны только страдания бедных людей и еще теперь — торжество богатых и властных, что я под игом никогда не обрету себе в душе точки зрения, с которой революция наша, страдания наши покажутся звеном в цепи событий, перерождающих мир» [Пришвин, 2004, с. 369].

В первых строках послания Ремизову Пришвин подчеркивает осознанный выбор печатного органа для своего глубоко личного послания. «...Но я в „Накануне“ потому и пишу, что это доходит до Вас, а когда я думаю иногда, что по каким-то совершенно случайным и внешним для нас обстоятельствам мы, быть может, совсем и не увидимся, то становится грустно» [Пришвин, 2004, с. 535].

По-видимому, Пришвин, воспринявший «Крюк» как «сменовеховское» произведение, использовал свою публикацию «Сопки Маира» в «Накануне» как личное предупреждение Ремизову о том, что весна 1920 г. была лишь случайным эпизодом в ходе становления новой, полностью контролируемой властью культуры. С возвращением в Москву для него наступила личная «смена вех»: от внутренней эмиграции к коллективной жизни Союза писателей, окунувшись в которую он почувствовал себя еще более «чужим» в родной стране. Осенью 1923 г. нравственное чувство подсказывало, что выбранный им рупор газеты «Накануне» ошибочен. После краха с публикацией «Мирской чаши» рельефно раскрылся истинный образ сменовеховца: «Все время, пока я вот уже месяц в Москве бегаю, мне кажется, что это не я бегаю и устраиваю, что это существо живучее, проворное, жадное старается, как все, приспособиться, это какой-то действительно цинический сменовеховец или барон Кыш<sup>30</sup>, все время я чувствую себя не только в обезьяньем мире, но и порождающим обезьяну» [Пришвин, 2004, с. 363].

Характерно, что титулованный «князь» Обезьяньей Великой и Вольной палаты М. М. Пришвин<sup>31</sup> в своем духовном одиночестве не был расположен к ремизовской трактовке образа обезьяны как благородного антипода

<sup>30</sup> Герой повести «Мирская чаша».

<sup>31</sup> О статусе Пришвина в ремизовской Обезьяньей Великой и Вольной палате см.: [Пришвин — Ремизов, 1995, с. 164].

человека. Его понимание реальности шло вослед ницшеанской мысли об извращении человеческой природы. Вместе с тем ремизовская идея обезьяньего братства как союза свободно мыслящих творческих людей все же отразилась в модусе поступков двух писателей, отличавшихся независимостью взглядов. Стоит признать, что «Крюк», несмотря на идиллический настрой по отношению к «новой культуре», был очевидной манифестацией позиции писателя, независимой от политически обусловленных мнений и идеологической конъюнктуры.

## Литература

- Андрей Белый и Иванов-Разумник, 1998 — Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., вступ. ст. и коммент. А. В. Лаврова и Дж. Мальмстада; подгот. текста Т. В. Павловой, А. В. Лаврова и Дж. Мальмстада. СПб.: Atheneum; Феникс, 1998. 736 с.
- Белый, 1922 — *Белый А.* Культура современной России // Новая русская книга. 1922. № 1. С. 3.
- Булгаков, 1989 — *Булгаков М. А.* Письма: жизнеописание в документах / Вступ. ст. В. В. Петелина, коммент. В. И. Лосева и В. В. Петелина. М.: Современник, 1989. 576 с.
- Василевский, 1922 — *Василевский И. (Не-Буква)*. Хихиканье в уголке: (Алексей Ремизов. «Шумы города») // Накануне. Лит. прил. 1922. 31 декабря, № 33. С. 13–15.
- Гуль, 1924 — *Эрг [Гуль Р. Б.]*. Алексей Ремизов. Кукха. Розановы письма. Изд-во З. И. Гржебина. 1923. (125 стр.): [Рец.] // Накануне: [Лит. неделя]. 1924. 23 марта, № 69 (586). С. 7.
- Гуль, 1927 — *Гуль Р.* Жизнь на Фукса. М.; Л.: Госиздат, 1927. 272 с.
- Дмитриев, 2010 — *Дмитриев А.* Большевики, интеллигенты и российская самобытность: к истории сменовеховских диагнозов // Идеология «особого пути» в России и Германии: истоки, содержание, последствия / Под ред. Э. А. Паина. М., 2010. С. 70–95.
- Квакин, 2006 — *Квакин М. В.* Между белыми и красными: Русская интеллигенция 1920–1930 годов в поисках Третьего пути. [М.]: Центрполиграф, 2006. 412 с.
- Обатнина, 2001 — *Обатнина Е.* Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. 383 с.
- Обатнина, 2018a — *Обатнина Е. Р.* «Россия в письменах»: советская корреспонденция в эмигрантском архиве А. М. Ремизова // Литературный архив советской эпохи: Сб. ст. и публ. / [Отв. ред.-сост. Н. А. Прозорова]. СПб.: Росток, 2018. С. 11–47.
- Обатнина, 2018b — *Обатнина Е. Р.* Этюды к творческой биографии А. М. Ремизова: начало эмиграции. 1921–1922 гг. // Литературный факт. 2018. № 7. С. 8–45.
- Обатнина, 2019 — *Обатнина Е. Р.* Этюды к творческой биографии А. М. Ремизова: «La vie», или жизнь «чудесным образом». Париж, 1924–1925 // Литературный факт. 2019. № 14. С. 8–44.

- Обатнина, 2021 — Письма И. Г. Лежнева А. М. Ремизову (1923–1926) / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. Е. Р. Обатниной // Литературный архив советской эпохи: сб. ст. и публ. СПб.: Росток, 2021. Кн. 3 (в печати).
- Пильняк, 1922 — *Пильняк-Вогану Б.* В редакцию Новой русской книги // Новая русская книга. 1922. № 5. С. 43.
- Пильняк, 2010 — *Пильняк Б. А.* Письма: В 2 т. / Сост., подгот. текста, предисл. и примеч. К. Б. Андроникашвили-Пильняк и Д. Кассек. М.: ИМЛИ РАН, 2010. Т. 1: 1906–1922. 567 с.; Т. 2: 1923–1937. 671 с.
- Пильняк — Ремизов, 2003 — Учитель или подмастерье? Семь писем Бориса Пильняка Алексею Ремизову / Подгот. текста, вступ. ст. и примеч. Д. Кассек // Новое литературное обозрение. 2003. № 3 (61). С. 247–272.
- Письма Святополк-Мирского к Ремизову, 2003 — «...С Вами беда — не перевести»: Письма Д. П. Святополк-Мирского к Ремизову (1922–1929) / Публ. Р. Хьюза // Диаспора: Альм. Париж: Athenaeum; СПб.: Феникс, 2003. [Вып.] 5. С. 335–401.
- Примочкина, 2003 — *Примочкина Н. Н.* Горький и писатели русского зарубежья. М.: ИМЛИ РАН, 2003. 364 с.
- Пришвин, 2004 — *Пришвин М. М.* Цвет и крест: Неизвестные произведения 1906–1924 годов / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. В. А. Фатеев. СПб.: Росток, 2004. 606 с.
- Пришвин, 2009 — *Пришвин М. М.* Дневник, 1923–1925 / Подгот. текста Я. З. Гришиной, Л. А. Рязановой; коммент. Я. З. Гришиной. СПб.: Росток, 2009. 559 с.
- Пришвин, 2016 — *Пришвин М. М.* Дневник 1920–1922 / Подгот. текста Я. З. Гришиной, А. В. Киселевой, Л. А. Рязановой; коммент. Я. З. Гришиной. 2-е изд., испр. СПб.: Росток, 2016. 494 с.
- Пришвин — Ремизов, 1995 — Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Е. Р. Обатниной // Русская литература. 1995. № 3. С. 157–209.
- Ремизов, 1922 — *Ремизов А.* Крюк. Память петербургская // Новая русская книга. 1922. № 1. Февраль. С. 6–10.
- Ремизов, 1923 — Ремизов о себе // Россия. 1923. № 6. С. 25–26.
- Ремизов, 2018 — *Ремизов А. М.* «На вечерней заре»: Главы из рукописи; Письма к С. П. Ремизовой-Довгелло: 1921–1922 гг. / Вступ. заметка и коммент. Е. Р. Обатниной, подгот. текста Е. Р. Обатниной и А. С. Урюпиной // Литературный факт. 2018. № 7. С. 46–81.
- Рубинчик, 2019 — *Рубинчик О.* «Не с теми я...»: Анна Ахматова и Наталия Крандиевская // Сюжетология и сюжетография. 2019. Т. 2. С. 41–55.
- Руль, 1922 — «Новая русская книга». 1922. № 1: [Рец.] // Руль. 1922. 26 февр., № 390. С. 6 (без подписи).
- Соколов-Микитов, 1922 — *Соколов-Микитов И.* Письмо А. Н. Толстому («Я теперь счастлив тем, что я в России...») // Накануне. Лит. прил. 1922. 15 окт., № 22. С. 7.
- Субботин, 1992 — *Субботин С. И.* К атрибуции псевдонимных сочинений из «Простой газеты» // Русская литература. 1992. № 1. С. 205–215.
- Толстая, 2005 — *Толстая Е. Д.* Человек меняет веки: Алексей Толстой по пути из Парижа в Берлин // Шиповник: Историко-филологический сборник к 60-летию Романа Давидовича Тименчика. М.: Водолей Publishers, 2005. С. 446–472.

- Толстая, 2013 — Толстая Е. Д. Ключи счастья: Алексей Толстой и литературный Петербург. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 544 с.
- Толстой, 1922 — Открытое письмо Гр. А. Толстого Н. В. Чайковскому // Накануне. 1922. 14 апреля, № 17. С. 2.
- Устрялов, 1920 — Устрялов Н. В. В борьбе за Россию: (Сборник статей). Харбин: Окно, 1920. 84 с.
- Фасмер, 1986 — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. и доп. чл.-кор. О. Н. Трубачева; под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ларина. 2-е стер. изд. М.: Прогресс, 1986. Т. 2: Е–Муж. 671 с.
- Lampf, 1978 — Lampf H. Zinaida Hippus an S. P. Remizova-Dovgello // Wiener slawistischer Almanach. 1978. Bd. 1. S. 164–194.

## References

- [Anonym] (1922). 'Novaya russkaya kniga. 1922. № 1. [Critique]', *Rul'*, 26 fevr., No 390, 6.
- Andrei Belyi i Ivanov-Razumnik. *Perepiska* (1998). A. V. Lavrov, J. Malmstad, T. V. Pavlova, ed. St. Petersburg: Atheneum; Pheniks. 736 p.
- Belyi, A. (1922). 'Kul'tura sovremennoi Rossii', *Novaya russkaya kniga*, 1, 3.
- Bulgakov, M. A. (1989). *Pis'ma: zhizneopisanie v dokumentakh*. V. I. Losev, V. V. Petelin, ed. Moscow: Sovremennik. 576 p.
- Dmitriev, A. (2010). 'Bol'sheviki, intelligenty i rossiiskaya samobytnost': k istorii smenovekhovskikh diaznozov', in: E. A. Pain, ed. *Ideologiya "osobogo puti" v Rossii i Germanii: istoki, sodержanie, posledstviya*. Moscow: Tri kvadrata, 70–95.
- Erg [R. B. Gul'] (1924). 'Aleksi Remizov. Kukha. Rozanovy pis'ma. Izdatel'stvo Z. I. Grzhebina. 1923. (125 str.). [Retsenzija]', *Nakanune [Lit. nedelya]*. 23 mar., No 69 (586), 7.
- Fasmer, M. (1986). *Etimologicheskii slovar' russkogo yazyka*. Vols. 1–4. O. N. Trubachev, transl., B. A. Larin, ed. Moscow: Progress. Vol. 2. 671 p.
- Gul' R. (1927). *Zhizn' na Fuksa*. Moscow, Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel'stvo. 272 p.
- Kvakin, M. V. (2006). *Mezhdubelymi i krasnymi: Russkaya intelligentsiya 1920–1930 godov v poiskakh Tre't'ego puti*. Moscow: Tsentrpoligraf. 412 p.
- Lampf, H. (1978). 'Zinaida Hippus an S. P. Remizova-Dovgello', *Wiener slawistischer Almanach*. Vol. 1, 155–194.
- Obatnina, E. (2001). *Tsar'Asyka i ego poddannye: Obez'yan'ya Velikaya i Vol'naya Palata A. M. Remizova v litsakh i dokumentakh*. St. Petersburg: Izdatel'stvo Ivana Limbakha. 383 p.
- Obatnina, E. R. (2018). 'Etyudy k tvorcheskoi biografii A. M. Remizova: nachalo emigratsii. 1921–1922 gody', *Literaturnyi fakt*, 7, 8–45.
- Obatnina, E. R. (2018). 'Rossiya v pis'menakh: sovetskaya korrespondentsiya v emigrantskom arkhive A. M. Remizova', in: *Literaturnyi arkhiv sovetskoj epokhi: sbornik statej i publikatsij*. [N. A. Prozorova, ed.]. St. Petersburg: Rostok, 11–47.
- Obatnina, E. R. (2019). 'Etyudy k tvorcheskoi biografii A. M. Remizova: "La vie", ili zhizn' "chudesnym obrazom". Parizh, 1924–1925', *Literaturnyi fakt*, 14, 8–44.
- Otkrytoe pis'mo Gr. A. Tolstogo N. V. Chaikovskomu (1922), *Nakanune*, 14 apr., No 17, 2.
- Pil'nyak-Vogau, B. (1922). 'V redaktsiyu Novoi russkoi knigi', *Novaya russkaya kniga*, 5, 43.
- Pil'nyak, B. A. (2010) *Pis'ma*. K. B. Andronikashvili-Pil'nyak, D. Kassek, ed. Moscow: Institut mirovoj literatury Rossijskoi akademii nauk. Vols 1. 567 p. Vol. 2. 671 p.

- Pis'ma I. G. Lezhneva A. M. Remizovu, 1923–1926 (2021), E. R. Obatnina, ed., in: *Literaturnyi arkhiv sovetskoj epokhi: sbornik statej i publikatsij*. St. Petersburg: Rostok. Vol. 3 [In print].
- Pis'ma M. M. Prishvina k A. M. Remizovu (1995). E. R. Obatnina, ed., *Russkaya literatura*, 3, 157–209.
- Primochkina, N. N. (2003). *Gor'kii i pisateli russkogo zarubezh'ya*. Moscow: Institut mirovoj literatury Rossijskoj akademii nauk. 364 p.
- Prishvin, M. M. (2004). *Tsvet i krest: Neizvestnye proizvedeniya 1906–1924 godov*, ed. V. A. Fateev. St. Petersburg: Rostok. 606 p.
- Prishvin, M. M. (2009). *Dnevnik 1923–1925*, ed. Ya. Z. Grishina, L. A. Ryazanova. St. Petersburg: Rostok. 559 p.
- Prishvin, M. M. (2016). *Dnevnik 1920–1922*. Ya. Z. Grishina, A. V. Kiseleva, L. A. Ryazanova, ed. St-Petersburg: Rostok. 494 p.
- Remizov, A. (1922). 'Kryuk. Pamyat' peterburgskaya', *Novaya russkaya kniga*, 1, 6–10.
- A. M. Remizov. 'Na vechernej zare. Glavy iz rukopisi; Pis'ma k S. P. Remizovoi-Dovgello. 1921–1922 gody' (2018). E. R. Obatnina, A. S. Uryupina, ed., *Literaturnyi fakt*, 7, 46–81.
- 'Aleksij Remizov o sebe' (1923), *Rossija*, 6, 25–26.
- Rubinchik, O. (2019). "Ne s temi ya...": Anna Akhmatova i Nataliya Krandievskaya', in: *Syuzhetologiya i syuzhetografiya*. Vol. 2, 41–55.
- '...S Vami beda — ne perevesti. Pis'ma D. P. Svyatopolk-Mirskogo k Remizovu (1922–1929)'. R. Kh'yuz, ed. (2003), *Diaspora*. Paris: Atheneum; St. Petersburg: Feniks, 5, 335–401.
- Sokolov-Mikitov, I. (1922). 'Pis'mo A. N. Tolstomu ("Ya teper' schastliv tem, chto ya v Rossii...")', *Nakanune. Literaturnoe prilozhenie*, 15 oct., No 22, 7.
- Subbotin, S. I. (1992). 'K atributsii psevdonimnykh sochinenii iz *Prostoi gazety*', *Russkaya literatura*, 1, 205–215.
- Tolstaya, E. D. (2005). 'Chelovek menyaet vekhi: Aleksei Tolstoj po puti iz Parizha v Berlin', in: *Shipovnik. K 60-letiyu Romana Davidovicha Timenchika*. Moscow: Vodolej Publishers, 446–472.
- Tolstaya, E. D. (2013). *Klyuchi schast'ya: Aleksei Tolstoj i literaturnyi Peterburg*. Moscow: No-voe literaturnoe obozrenie. 544 p.
- Ustryalov, N. (1920). *V bor'be za Rossiyu. Sbornik statej*. Kharbin: Okno. 84 p.